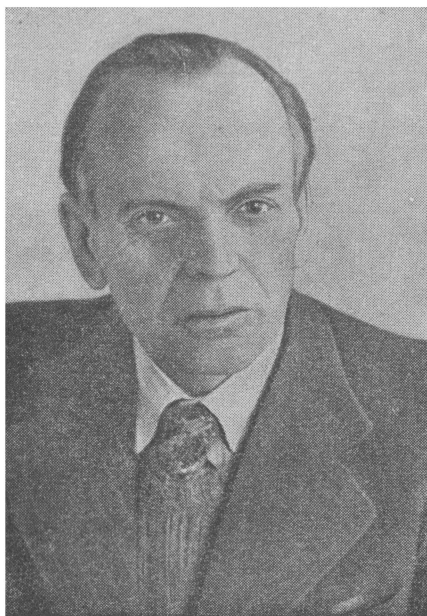


К. ПАУСТОВСКИЙ

ДОЖДЛИВЫЙ РАССВЕТ



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
№ 2
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА — 1946

КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ

ДОЖДЛИВЫЙ РАССВЕТ

РАССКАЗЫ

Издательство «Правда»
Москва — 1946

КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ

Константин Георгиевич Паустовский родился в Москве в 1892 году в семье инженера-железнодорожника. Детство и юность провёл на Украине. Окончил киевскую гимназию и университет. Прежде чем стать писателем, переменял несколько профессий. Много путешествовал по Советскому Союзу.

Главные книги К. Паустовского: «Блистающие облака» (1927), «Встречные корабли» (1928), «Карабугаз» (1932), «Судьба Шарля Лонсевилья» (1933), «Колхида» (1934), «Романтики» (1935), «Чёрное море» (1936), «Летние дни» (1937), «Левитан» (1938), «Северные рассказы» (1939), «Тарас Шевченко» (1939), «Мещорская сторона» (1940). Пьесы К. Паустовского «Простые сердца», «Созвездие Гончих псов», «Поручик Лермонтов» и некоторые другие шли во многих театрах СССР.

Кроме того в различных журналах и газетах К. Паустовским опубликовано свыше ста рассказов.

Ряд книг К. Паустовского переведён на иностранные языки.

ДОЖДЛИВЫЙ РАССВЕТ

В Наволоки пароход пришёл ночью. Майор Кузьмин вышел на палубу. Моросил дождь. На пристани было пусто,— горел только один фонарь.

«Где же город?— подумал Кузьмин.— Тьма, дождь,— чорт знает что!»

Он поёжился, застегнул шинель. С реки задувал холодный ветер.

Кузьмин разыскал помощника капитана, спросил, долго ли пароход простоят в Наволоках.

— Часа три,— ответил помощник.— Смотря по погрузке. А вам зачем? Вы же едете дальше.

— Письмо надо передать. От соседа по госпиталю. Его жене. Она здесь, в Наволоках.

— Да, задача!— вздохнул помощник.— Хоть глаз выколи! Гудки слушайте, а то останетесь.

Кузьмин вышел на пристань, поднялся по скользкой лестнице на крутой берег. Было слышно, как шуршит в кустах дождь. Кузьмин постоял, чтобы глаза привыкли к темноте, увидел понурую лошадь, кривую извозчицю пролётку. Верх пролётки был поднят. Из-под него слышался храп.

— Эй, приятель,— громко сказал Кузьмин,— царство божие проспишь!

Извозчик заворочался, вылез, высморкался, вытер нос полой армяка и только тогда спросил:

— Поедем, что ли?

— Поедем,— согласился Кузьмин.

— А куда везти?

Кузьмин назвал улицу.

— Далёко,— забеспокоился извозчик.— На горѣ. Не меньше как на четвертинку взять надо.

Он задѣргал вожжами, зачмокал. Пролѣтка нехотя тронулась.

— Ты что ж, единственный в Наволоках извозчик?— спросил Кузьмин.

— Двое нас, стариков. Остальные сражаются. А вы к кому?

— К Башиловой.

— Знаю,— извозчик живо обернулся.— К Ольге Андреевне, доктора Андрея Петровича дочке. Прошлой зимой из Москвы приехала, поселилась в отцовском доме. Сам Андрей Петрович два года как помер, а дом ихний...

Пролѣтка качнулась, залязгала и вылезла из ухаба.

— Ты на дорогу смотри,— посоветовал Кузьмин.— Не оглядывайся.

— Дорога действительно...— пробормотал извозчик.— Тут днём ехать, конечно, сробеешь. А ночью ничего. Ночью ям не видно.

Извозчик замолчал. Кузьмин закурил, откинулся в глубь пролѣтки. По поднятому верху барабанил дождь. Далёко лаяли собаки. Пахло укропом, мокрыми заборами, речной сыростью. «Час ночи, не меньше»,— подумал Кузьмин. Тотчас где-то на колокольне надтреснутый колокол действительно пробил один удар.

«Остаться бы здесь на весь отпуск,— подумал Кузьмин.— От одного воздуха всё пройдёт, все неприятности после ранения. Снять комнату в домишке с окном в сад. В такую ночь открыть настежь окно, лечь, укрыться и слушать, как дождь стучит по лопухам».

— А вы не муж ихний?— спросил извозчик.

Кузьмин не ответил. Извозчик подумал, что военный не расслышал его вопроса, но второй раз спросить не решился. «Ясно, муж,—сообразил извозчик.— А люди болтают, что она мужа бросила ещё до войны. Врут, надо полагать».

— Но, сатана! — крикнул он и хлестнул вожжѳй костлявую лошадь.— Нанялась тесто месить!

«Глупо, что пароход опоздал и пришѳл ночью,— подумал Кузьмин.— Почему Башилов—его сосед по палате, когда узнал, что Кузьмин будет проезжать мимо Наволок, попросил передать письмо жене непременно из рук в руки? Придѳтся будить людей, бог знает, что ещё могут подумать!»

* * *

Башилов был высокий насмешливый офицер. Говорил он охотно и много. Перед тем как сказать что-нибудь острое, он долго и беззвучно смеялся. До призыва в армию Башилов работал помощником режиссѳра в кино. Каждый вечер он подробно рассказывал соседям по палате об американских фильмах. Раненые любили рассказы Башилова, ждали их и удивлялись его памяти. В своих оценках людей, событий, книг Башилов был резок, очень упрям и высмеивал каждого, кто пытался ему возражать. Но высмеивал хитро — намѳками, шутками,— и высмеянный обыкновенно только через час—два спохватывался, соображал, что Башилов его обидел, и придумывал ядовитый ответ. Но отвечать, конечно, было уже поздно.

За день до отъезда Кузьмина Башилов передал ему письмо для своей жены и впервые на лице у Башилова Кузьмин заметил растерянную улыбку. А потом ночью Кузьмин слышал, как Башилов ворочался на койке и сморкался. «Может быть, он и не такой уж сухарь,— подумал Кузьмин.— Вот, кажется, плачет. Значит, любит. И любит сильно».

Весь следующий день Башилов не отходил от Кузьмина, поглядывал на него, подарил итальянскую офицерскую флягу, а перед самым отъездом они выпили вдвоём бутылку припрятанного Башиловым вина.

— Что вы на меня так смотрите?— спросил Кузьмин.

— Хороший вы человек,— ответил Башилов.— Вы могли бы быть художником, дорогой майор.

— Я топограф,— ответил Кузьмин,— а топографы по натуре — те же художники.

— Почему?

— Бродяги, — неопределённо ответил Кузьмин.

— «Изгнанники, бродяги и поэты,— насмешливо продекламировал Башилов,— кто жаждал быть, но стать ничем не смог».

— Это из кого?

— Из Волошина. Но не в этом дело. Я смотрю на вас потому, что завидую. Вот и всё.

— Чему завидуете?

Башилов повертел стакан, откинулся на спинку стула и усмехнулся. Сидели они в конце госпитального коридора у плетёного столика. За окном ветер гнул молодые деревья, шумел листьями, нёс пыль. Из-за реки шла на город дождевая туча.

— Чему завидую?— переспросил Башилов и положил свою красную руку на руку Кузьмина.— Всему. Даже вашей руке. И не левой. А именно правой.

— Ничего не понимаю,— сказал Кузьмин и осторожно убрал свою руку. Прикосновение холодной руки Башилова было ему неприятно. Но, чтобы Башилов этого не заметил, Кузьмин взял бутылку и начал наливать в стаканы вино.

— Ну и не понимайте!— ответил Башилов сердито. Он помолчал и заговорил, опустив глаза:

— Если бы мы могли поменяться местами! Но, в общем, всё это чепуха! Через два дня вы будете в Наволо-

ках. Увидите Ольгу Андреевну. Она пожмёт вам руку. Вот я и завидую. Теперь-то вы понимаете?

— Ну, что вы! — сказал, растерявшись, Кузьмин. — Вы тоже увидите вашу жену.

— Она мне не жена! — резко ответил Башилов. — Хорошо ещё, что вы не сказали «супруга».

— Ну, извините, — пробормотал Кузьмин.

— Она мне не жена! — так же резко повторил Башилов. — Она — всё! Вся моя жизнь. Ну, довольно об этом!

Он встал и протянул Кузьмину руку:

— Прощайте. А на меня не сердитесь. Я не хуже других.

* * *

Пролётка въехала на дамбу. Темнота стала гуще. В старых вётрах сонно шумел, стекал с листьев дождь. Лошадь застучала копытами по настилу моста.

«Далеко, всё-таки!» — вздохнул Кузьмин и сказал извозчику:

— Ты меня подожди около дома. Отвезёшь обратно на пристань...

— Это можно, — тотчас согласился извозчик и подумал: «Нет, видать, не муж. Муж бы наверняка остался на день — другой. Видать, посторонний».

Началась булыжная мостовая. Пролётка затряслась, задрезжала железными подножками. Извозчик свернул на обочину. Колёса мягко покатились по сырому песку. Кузьмин снова задумался.

Вот Башилов позавидовал ему. Конечно, никакой зависти не было. Просто Башилов сказал не то слово. После разговора с Башиловым у окна в госпитале, наоборот, Кузьмин начал завидовать Башилову. «Опять не то слово?» — с досадой сказал про себя Кузьмин. Он не завидовал. Он просто жалел. О том, что вот — ему сорок лет, но не было у него ещё такой любви, как у Башилова. Всегда он был один.

«Ночь, дождь шумит по пустым садам, чужой городок, с лугов несёт туманом,— так и жизнь пройдёт»,— почему-то подумал Кузьмин.

Снова ему захотелось остаться здесь. Он любил русские городки, где с крылечек видны заречные луга, широкие взвозы, телеги с сеном на паромках. Эта любовь удивляла его самого. Вырос он на юге в морской семье. От отца осталось у него пристрастие к изысканиям, географическим картам, скитальчеству. Поэтому он и стал топографом. Профессию эту Кузьмин считал всё же случайной и думал, что если бы он родился в другое время, то был бы охотником, открывателем новых земель, авантюристом. Ему нравилось так думать о себе, но он ошибался. В характере у него не было ничего, что свойственно таким людям. Кузьмин был застенчив, сдержан, мягок с окружающими. Лёгкая седина выдавала его возраст. Но, глядя на этого худенького, невысокого офицера, никто бы не дал ему больше тридцати лет.

Пролётка въехала, наконец, в тёмный городок. Только в одном доме, должно быть в аптеке, горела за стеклянной дверью синяя лампочка. Улица пошла в гору. Извозчик слез с козел, чтобы лошади было легче. Кузьмин тоже слез. Он шёл, немного отстав, за пролёткой и вдруг почувствовал всю странность своей жизни. «Где я?— подумал он.— Какие-то Наволоки, глушь, лошадь высекает искры подковами. Где-то рядом — неизвестная женщина. Ей надо передать ночью важное и, должно быть, невесёлое письмо. А два месяца назад были фронт, Польша, широкая тихая Висла. Странно как-то! И хорошо».

Гора окончилась. Извозчик свернул в боковую улицу. Тучи кое-где разошлись, и в черноте над головой то тут, то там зажигалась звезда. Поблестев в лужах, она гасла. Пролётка остановилась около дома с мезонином.

— Приехали!— сказал извозчик.— Звонки у калитки, с правого боку.

Кузьмин ощупью нашёл деревянную ручку звонка и потянул её, но никакого звонка не услышал — только завизжала ржавая проволока.

— Шибче тяните! — посоветовал извозчик.

Кузьмин снова дёрнул за ручку. В глубине дома заболтал колокольчик. Но в доме было попрежнему тихо, — никто, очевидно, не проснулся.

— Ох-хо-хо! — зевнул извозчик. — Ночь дождливая — самый крепкий сон.

Кузьмин подождал, позвонил сильнее. На деревянной галерейке слышались шаги. Кто-то подошёл к двери, остановился, послушал, потом недовольно спросил:

— Кто такие? Чего надо?

Кузьмин хотел ответить, но извозчик его опередил:

— Отворяй, Марфа, — сказал он. — К Ольге Андреевне приехали. С фронта.

— Кто с фронта? — так же неласково спросил за дверью голос. — Мы никого не ждём.

— Не ждёте, а дождались!

Дверь приоткрылась на цепочке. Кузьмин сказал в темноту, кто он и зачем приехал.

— Батюшки! — испуганно сказала женщина за дверью. — Беспokoйство вам какое! Сейчас отомкну. Ольга Андреевна спит. Вы зайдите, я её разбуджу.

Дверь отворилась, и Кузьмин вошёл в тёмную галерейку.

— Тут ступеньки, — предупредила женщина уже другим, ласковым голосом. — Ночь-то какая, а вы приехали! Обождите, не ушибитесь. Я сейчас лампу засвечу, — у нас по ночам огня нету.

Она ушла, а Кузьмин остался на галерейке. Из комнат тянуло запахом чая и ещё каким-то слабым и приятным запахом. На галерейку вышел кот, потёрся о ноги Кузьмина, промурлыкал и ушёл обратно в ночные комнаты, как бы приглашая Кузьмина за собой.

За приоткрытой дверью задрожал слабый свет.

— Пожалуйте,— сказала женщина.

Кузьмин вошёл. Женщина поклонилась ему. Это была высокая старуха с тёмным лицом. Кузьмин, стараясь не шуметь, снял шинель, фуражку, повесил на вешалку около двери.

— Да вы не беспокойтесь, всё равно Ольгу Андреевну будить придётся,— улыбнулась старуха.

— Гудки с пристани здесь слышно?— вполголоса спросил Кузьмин.

— Слышно, батюшка! Хорошо слышно. Неужто с парохода да на пароход! Вот тут садитесь, на диван.

Старуха ушла. Кузьмин сел на диван с деревянной спинкой, поколебался, достал папиросу, закурил. Он волновался, и непонятное это волнение его сердило. Им овладело то чувство, какое всегда бывает, когда попадаешь ночью в незнакомый дом, в чужую жизнь, полную тайн и догадок. Эта жизнь лежит, как книга, забытая на столе на какой-нибудь шестьдесят пятой странице. Заглядываешь на эту страницу и стараешься угадать, о чём написана книга, что в ней? Тургеневский ли это роман с его трепетом девичьей любви и солнцем за облетающими липами? А, может быть, горькая повесть Катюши Масловой?

На столе действительно лежала раскрытая книга. Кузьмин встал, наклонился над ней и, прислушиваясь к торопливому шопоту за дверью и шелесту платья, прочёл про себя давно позабытые слова:

И невозможное возможно,
Дорога дальняя легка,
Когда блеснёт в дали дорожной
Мгновенный взор из-под платка...

Кузьмин поднял голову, осмотрелся. Низкая, тёплая комната опять вызвала у него желание остаться в этом городке.

Есть особенный простодушный уют в таких комнатах с висячей лампой над обеденным столом, белым матовым абажуром, оленьими рогами над картиной, изображающей собаку около постели больной девочки. Такие комнаты вызывают улыбку,— здесь всё старомодно, давно позабыто.

Всё вокруг, даже пепельница из розовой раковины, говорило о жизни долгой, устойчивой. Может быть, это ощущение устойчивой жизни — а её у Кузьмина никогда не было — и вызвало у него желание остаться здесь и жить так, как жили обитатели старого дома — неторопливо, в чередовании труда и отдыха, зим, вёсен, дождливых и солнечных дней. Желание погрузиться в течение жизни — ясной, лишённой душевного разлада, когда даже старость не пугает и не вызывает мучений, как не вызывает их летний вечер, постепенно тонущий во тьме огромной ночи.

Но среди старых вещей были и другие. На столе стоял букет полевых цветов — ромашки, медуницы, дикой рябинки. Букет был собран, должно быть, недавно. На скатерти лежали ножницы и отрезанные ими лишние стебли цветов.

И рядом — раскрытая книга Блока. «Дорога дальняя легка...» И чёрная маленькая женская шляпа на рояле, на синем плюшевом альбоме для фотографий. Совсем не старинная, а очень современная шляпа. И небрежно брошенные на столе часики в никелевом браслете. Они шли бесшумно и показывали половину второго. И всегда немного печальный, особенно в такую позднюю ночь, запах духов.

Одна створка окна была открыта. За ней, за вазонами с бегонией, поблескивал от неяркого света, падавшего из окна, мокрый куст сирени. В темноте перешёптывался слабый дождь. Только в жестяном жолобе торопливо стучали тяжёлые капли.

Кузьмин прислушался к стуку капель. Веками мучившая людей мысль о необратимости каждой минуты пришла ему в голову именно сейчас, ночью, в незнакомом доме, откуда через несколько минут он уйдёт и куда никогда не вернётся.

«Старость это, что ли?» — подумал Кузьмин и обернулся.

На пороге комнаты стояла молодая женщина в чёрном платье. Очевидно, она торопилась выйти к нему и плохо причесалась. Одна коса упала ей на плечо, и женщина, не спуская глаз с Кузьмина и смущённо улыбаясь, подняла её и приколотла шпилькой к волосам на затылке. Кузьмин поклонился.

— Извините,— сказала женщина и протянула Кузьмину руку.— Я вас заставила ждать.

— Вы Ольга Андреевна Башилова?

— Да.

Кузьмин смотрел на женщину. Его удивили её молодость и блеск глаз — глубокий и немного туманный.

Кузьмин извинился за беспокойство, достал из кармана кителя письмо Башилова, подал женщине. Она взяла письмо, поблагодарила и, не читая, положила его на рояль.

— Что ж мы стоим!— сказала она.— Садитесь! Вот сюда, к столу. Здесь светлее.

Кузьмин сел к столу, попросил разрешения закурить.

— Курите, конечно,— сказала женщина.— Я тоже, пожалуйста, закурю.

Кузьмин предложил ей папиросу, зажёл спичку. Когда она закуривала, на лицо её упал свет спички, и сосредоточенное это лицо с чистым лбом показалось Кузьмину знакомым.

Ольга Андреевна села против Кузьмина. Он ждал распросов, но она молчала и смотрела за окно, где всё так же однотонно шумел дождь.

— Марфуша,— сказала Ольга Андреевна и обернулась к двери.— Поставь, милая, самовар.

— Нет, что вы! — испугался Кузьмин.— Я тороплюсь. Извозчик ждёт на улице. Я должен был только передать вам письмо и рассказать кое-что... о вашем муже.

— Что рассказывать!— ответила Ольга Андреевна, вытаскивала из букета цветов ромашки и начала безжалостно обрывать на нём лепестки.— Он жив — и я рада.

Кузьмин молчал.

— Оставайтесь,— просто, как старому другу, сказала Ольга Андреевна.— Гудки мы услышим. Пароход отойдёт, конечно, не раньше рассвета.

— Почему?

— А у нас, батюшка, пониже Наволок,— сказала из соседней комнаты Марфа,— пережат большой на реке. Его ночью проходить опасно. Вот капитаны и ждут до света.

— Это правда,— подтвердила Ольга Андреевна.— Пешком до пристани всего четверть часа. Если идти через городской сад. Я вас провожу. А извозчика вы отпустите. Кто вас привёз? Василий?

— Вот этого я не знаю,— улыбнулся Кузьмин.

— Тимофей их привёз,— сообщила из-за двери Марфа. Было слышно, как она гремит самоварной трубой.— Хоть чайку попейте. А то что же — из дождя да под дождь.

Кузьмин согласился, вышел к воротам, расплатился с извозчиком. Извозчик долго не уезжал, топтался около лошади, поправлял шлею.

Когда Кузьмин вернулся, стол уже был накрыт. Стояли старые синие чашки с золотыми ободками, кувшин с тёплым молоком, мёд, начатая бутылка вина. Марфа внесла самовар.

Ольга Андреевна извинилась за скудное угощение, сказала, что собирается обратно в Москву, а сейчас пока что работает в Наволоках в городской библиотеке. Кузь-

мин всё ждал, что она, наконец, спросит о Башилове, но она не спрашивала, и Кузьмин испытывал от этого всё большее смущение. Он догадывался ещё в госпитале, что у Башилова разлад с женой. Но сейчас, после того, как она, не читая, отложила письмо на рояль, он совершенно убедился в этом, и ему уже казалось, что он не выполнил своего долга перед Башиловым и очень в этом виноват. «Очевидно, она прочтёт письмо позже»,— подумал он. Одно было ясно: письмо, которому Башилов придавал такое значение и ради которого Кузьмин появился в неуточный час в этом доме, уже ненужно здесь и неинтересно. В конце концов Башилову Кузьмин не помог и только поставил себя в неловкое положение. Ольга Андреевна как будто догадалась об этом и сказала:

— Вы не сердитесь. Есть почта, есть телеграф,— я не знаю, зачем ему понадобилось вас затруднять.

— Какое же затруднение! — поспешно ответил Кузьмин и добавил, помолчав:— Наоборот, это очень хорошо.

— Что хорошо?

Кузьмин покраснел.

— Что хорошо?— громче переспросила Ольга Андреевна и подняла на Кузьмина потемневшие глаза. Она смотрела на него, как бы стараясь догадаться, о чём он думает,— строго, подавшись вперёд, ожидая ответа. Но Кузьмин молчал.

— Но всё же, что хорошо?— опять спросила она.

— Как вам сказать,— ответил, раздумывая, Кузьмин.— Это особый разговор. Всё, что мы любим в жизни, редко случается. Не знаю, как у других, но я сужу по себе. Всё хорошее почти всегда проходит мимо. Вы понимаете?

— Не очень,— ответила Ольга Андреевна и нахмурилась.

— Как бы вам объяснить,— сказал Кузьмин, сердясь на себя.— С вами тоже так, наверное, бывало. Из окна вагона вы вдруг увидите поляну в берёзовом лесу, уви-

дите, как осенняя паутина заблестит на солнце, и вам захочется выскочить на ходу из поезда и остаться на этой поляне. Но поезд проходит мимо. Вы высовываетесь из окна и смотрите назад, куда уносятся все эти рощи, луга, глухие реки, лошадёнки, просёлочные дороги, уносятся вся наша милая Россия, и слышите неясный звон. Что звенит,— непонятно. Может быть, лес или воздух. Или гудят телеграфные провода. А, может быть, рельсы звенят от хода поезда. Мелькнёт вот так, на мгновение, а помнишь об этом всю жизнь.

Кузьмин замолчал. Ольга Андреевна пододвинула ему стакан с вином:

— Пейте. Это рислинг.

— Я в жизни,— сказал Кузьмин и покраснел, как всегда краснел, когда ему случалось говорить о себе,— всегда ждал вот таких неожиданных и простых вещей. И если находил их, то бывал счастлив. Не надолго, но бывал.

— И сейчас тоже?— спросила Ольга Андреевна.

— Да!

Ольга Андреевна опустила глаза.

— Почему? — спросила она.

— Не знаю точно. Такое у меня ощущение. Я был ранен на Висле, лежал в госпитале. Все получали письма, а я не получал. Просто мне не от кого было получать. Лежал, выдумывал, конечно, как все выдумывают, своё будущее после войны. Обязательно счастливое и необыкновенное. Потом вылечился, и меня решили отправить на отдых. Назначили город.

— Какой?— спросила Ольга Андреевна.

Кузьмин назвал город. Ольга Андреевна ничего не ответила.

— Сел на пароход,— продолжал Кузьмин.— Деревни на берегах, пристани. И очертившее сознание одиночества. Ради бога, не подумайте, что я жалуюсь. В одиночестве тоже много хорошего. Потом Наволоки. Я боялся

их проспать. Вышел на палубу, увидел глухую ночь и подумал: как странно, что в этой огромной, закрывшей всю Россию темноте, под дождливым небом спокойно спят тысячи разных людей. И только сейчас, во сне, остановилась их жизнь. И то — не надолго. А день опять начнёт тянуть и плести нитку, — как бы вам сказать, — нитку судьбы у каждого. И у вас и у меня. Потом я ехал сюда на извозчике и всё гадал, кого я встречу.

— Чем же вы всё-таки счастливы? — спросила Ольга Андреевна.

— Так... — спохватился Кузьмин. — Вообще хорошо.

Он замолчал.

— Что же вы? Говорите!

— О чём? Я и так разболтался, наговорил лишнего.

— Обо всём, — ответила Ольга Андреевна, она как будто не расслышала его последних слов. — О чём хотите, — добавила она. — Хотя всё это немного странно.

Она встала, подошла к окну, отодвинула занавеску. Дождь не стихал.

— Что странно? — спросил Кузьмин.

— Всё дождь! — сказала Ольга Андреевна и обернулась. — Вот вы — одинокий человек. И я — тоже. И такая вот встреча. И весь этот ночной разговор — разве это не странно?

Кузьмин смущённо молчал. Ольга Андреевна подошла к календарю, оторвала листок.

— Двенадцатое июня. Я постоянно забываю, сколько дней в году?

— 365.

— Мне двадцать восемь лет. Это сколько же будет дней?

Кузьмин подумал, улыбнулся:

— Около десяти тысяч.

— Ну, хорошо. Отбросим пять тысяч дней на детство. Значит, пять тысяч раз я ждала чего-то чудесного. Жда-

ла, как и все ждут,— каждый божий день. Но никто мне не мог сказать, никакая гадалка, когда, наконец, среди этих дней выпадет самый памятный.

Она подняла на Кузьмина посветлевшие глаза и спросила:

— Я глупости говорю, конечно?

Кузьмин хотел ответить, что это вовсе не глупости, но в сыром мраке за окном, где-то под горой, загудел паром.

— Ну что ж,— как будто с облегчением сказала Ольга Андреевна.— Вот и гудок!

Кузьмин встал. Ольга Андреевна не двигалась.

— Погодите,— сказала она спокойно.— Давайте сядем перед дорогой. Как в старину.

Кузьмин снова сел. Ольга Андреевна тоже села, задумалась, даже отвернулась от Кузьмина. Кузьмин, глядя на её высокие плечи, на тяжелые волосы, заколотые узлом на затылке, на чистый изгиб шеи, подумал, что если бы не Башилов, то он никуда бы не уехал из этого городка, остался бы здесь до конца отпуска и жил бы, волнуясь и зная, что рядом живёт эта милая и очень грустная сейчас женщина, живёт и ждёт самый памятный день.

Ольга Андреевна встала. В маленькой прихожей Кузьмин помог ей надеть плащ. Она накинула на голову платок.

Они вышли, молча пошли по тёмной улице.

— Скоро рассвет,— сказала Ольга Андреевна.

Над заречной стороной синело водянистое небо. Кузьмин заметил, что Ольга Андреевна вздрогнула.

— Вам холодно?— встревожился он.— Зря вы пошли меня провожать. Я бы и сам нашёл дорогу.

— Нет, не зря,— коротко ответила Ольга Андреевна.

Дождь прошёл, но с крыш ещё падали капли, постукивали по дощатому тротуару.

В конце улицы тянулся городской сад. Калитка была

открыта. За ней сразу начались густые, запущенные аллеи. В саду пахло ночным холодом, сырым песком. Это был старый сад, чёрный от высоких лип. Липы уже отцветали и слабо пахли. Один только раз ветер прошёл по саду, и весь он зашумел, будто над ним пролился и тотчас стих крупный и сильный ливень.

В конце сада был обрыв над рекой, а за обрывом — предрассветные дождливые дали, тусклые огни бакенов внизу, туман, вся грусть летнего ненастья.

— Как же мы спустимся?— спросил Кузьмин.

— Идите сюда!

Ольга Андреевна свернула по тропинке прямо к обрыву и подошла к деревянной лестнице, уходившей вниз, в темноту.

— Дайте руку!— сказала Ольга Андреевна.— Здесь много гнилых ступенек.

Кузьмин подал ей руку, и они осторожно начали спускаться. Между ступенек росла мокрая от дождя трава.

На последней площадке лестницы они остановились. Были уже видны пристань, зелёные и красные огни парохода. Свистел пар. Сердце у Кузьмина сжалось от сознания, что вот сейчас он расстанется с этой незнакомой и такой близкой ему женщиной и ничего ей не скажет, — ничего! Даже не поблагодарит за то, что она встретила его на пути, подала маленькую крепкую руку в сырой перчатке, осторожно свела его по ветхой лестнице и каждый раз, когда над перилами свешивалась мокрая ветка и могла задеть его по лицу, она тихо говорила: «Нагните голову!» И Кузьмин покорно наклонял голову.

— Прощаемся здесь,— сказала Ольга Андреевна.— Дальше я не пойду.

Кузьмин взглянул на неё. Из-под платка смотрели на него тревожные, строгие глаза. Неужели вот сейчас, сию минуту всё уйдёт в прошлое и станет одним из томительных воспоминаний и в её и в его жизни?

Ольга Андреевна протянула Кузьмину руку. Кузьмин поцеловал её и почувствовал тот же слабый запах духов, что впервые услышал в тёмной комнате под сонный шорох дождя.

Когда он поднял голову, Ольга Андреевна что-то сказала, но так тихо, что Кузьмин не расслышал. Ему показалось, что она сказала одно только слово: «Напрасно...» Может быть, она сказала ещё что-нибудь, но с реки сердито закричал пароход, жалуясь на промозглый рассвет, на свою бродячую жизнь в дождях, в туманах.

Кузьмин сбежал, не оглядываясь, на берег, прошёл через пахнущую рогожами и дёгтем пристань, вошёл на пароход и тотчас же поднялся на пустую палубу. Пароход уже отваливал, медленно работая колёсами. Кузьмин прошёл на корму, посмотрел на обрыв, на лестницу — Ольга Андреевна была ещё там. Чуть светало, и её трудно было разглядеть. Кузьмин поднял руку, но Ольга Андреевна не ответила.

Пароход уходил всё дальше, гнал на песчаные берега длинные волны, качал бакены, и прибрежные кусты лозняка отвечали торопливым шумом на удары пароходных колёс.

ТЕЛЕГРАММА

Октябрь был наредкость холодный, ненастный. Тесовые крыши почернели.

Спутанная трава в саду полегла, и всё доцветал и никак не мог доцвести и осыпаться один только маленький подсолнечник около забора.

Над лугами тащились из-за реки, цепляясь за облетевшие вѣтлы, рыхлые тучи. Из них назойливо сыпался дождь.

По дорогам уже нельзя было ни пройти, ни проехать, и пастухи перестали гонять в луга стадо.

Пастуший рожок затих до весны. От этого Катерине Петровне стало ещё труднее вставать по утрам и видеть всё то же: тёмные комнаты, где застоялся горький запах нетопленных печей, пыльный «Вестник Европы», пожелтевшие чашки на столе, давно не чищенный самовар и чёрные картины на стенах. Может быть, в комнатах было слишком сумрачно, а в глазах Катерины Петровны уже появилась тёмная вода или, может быть, картины потускнели от времени, но на них ничего нельзя было разобрать. Катерина Петровна только по памяти знала, что вот эта — портрет её отца, а вот эта — маленькая в золотой раме — подарок Крамского, эскиз к его «Незнакомке в бархатной шубке».

Дом был, как говорила Катерина Петровна, «мемориальный». Он находился под охраной областного музея. Но что будет с этим домом, когда умрёт она, последняя его обительница, Катерина Петровна не знала.

А в селе — называлось оно Заборье — никого уже, пожалуй, и не было, с кем можно было поговорить о картинах, петербургской жизни, о том незабываемом лете, когда Катерина Петровна жила с отцом в Париже и видела похороны Виктора Гюго.

Не расскажешь же об этом Манюшке, дочери соседа, колхозного сапожника, — девчонке, прибегавшей каждый день, чтобы принести воды из колодца, подмести полы, поставить самовар.

Денег не было, и Катерина Петровна дарила Манюшке за услуги сморщенные бальные перчатки, страусовые перья, стеклярусную чёрную шляпу.

— На кой это мне? — хрипло спрашивала Манюшка и шмыгала носом. — Тряпишница я, что ли?

— А ты продай, милая, — шептала Катерина Петровна. Вот уже год, как она ослабела и не могла говорить громко. — Ты продай.

— Сдам в утиль, — решала Манюшка, забирала всё и уходила.

Изредка заходил сторож при пожарном сарае Тихон — суетливый, тощий, рыжий. Он ещё помнил, как отец Катерины Петровны приезжал из Петербурга, строил дом, заводил усадьбу.

Тихон был тогда мальчишкой, но почтение к старому художнику сберёг на всю жизнь и, глядя на его картины, громко вздыхал:

— Работа натуральная — не то, что у нынешних!

Тихон суетился всегда без толку, от жалости, но всё же помогал по хозяйству, — рубил в саду засохшие яблоны, пилил их, колол на дрова. И каждый раз, уходя, оставался в дверях и спрашивал:

— Не слышно, Катерина Петровна, Настя пишет чего или нет?

Катерина Петровна молчала, сидя на диване — сгорбленная, маленькая, — и всё перебирала какие-то тряпочки в рыжем кожаном ридикюле. Тихон долго сморкался, топтался у порога.

— Ну, что ж, — говорил он, не дождавшись ответа. — Я, пожалуй, пойду, Катерина Петровна.

— Иди, Тиша, — шептала Катерина Петровна. — Иди, бог с тобой.

Он выходил, осторожно прикрыв дверь, а Катерина Петровна начинала тихонько плакать. Ветер свистел за окнами в голых ветвях, сбивал последние листья. Керосиновый ночник вздрагивал на столе. Он был единственным живым существом в покинутом доме, — без этого слабого огня Катерина Петровна и не знала бы, как дожить до утра.

Ночи были уже долгие, тяжёлые, как бессонница, а рассвет, чем дальше, тем всё больше медлил, всё запаздывал и нехотя сочился в немытые окна, где между рам ещё с прошлого года лежали поверх ваты когда-то жёлтые, осенние, а теперь истлевшие и грязные листья.

* * *

Настя, её дочь и единственный родной человек, жила далеко, в Ленинграде. Последний раз она приезжала пять лет назад.

Катерина Петровна знала, что Насте теперь не до неё, не до зажившейся на свете старухи. У них, у молодых, свои дела, свои непонятные разговоры, своё счастье. Лучше его не смущать. Поэтому Катерина Петровна очень редко писала Насте, но думала о ней все дни, сидя на краешке продавленного дивана, так неслышно, чтомышь, обманутая тишиной, выбегала из-за печки, становилась на задние лапки и долго, поводя носом, нюхала застоявшийся воздух.

Писем от Насти тоже не было, но раз в полгода весёлый молодой почтарь Василий приносил Катерине Петровне перевод на двести рублей. Он осторожно придерживал Катерину Петровну за руку, когда она расписывалась, чтобы не расписалась там, где не надо.

Василий уходил, и Катерина Петровна сидела растерянная, с деньгами в руках, и деньги эти казались ей тяжёлыми, как чугунные гирьки. Потом она надевала очки и перечитывала несколько слов на почтовом переводе. Слова были всё одни и те же,— столько дел, что нет времени не то что приехать, а даже написать настоящее письмо.

Катерина Петровна осторожно перебирала пухлые бумажки. От старости она забывала, что деньги эти вовсе не те, какие были в руках у Насти, и ей казалось, что от денег пахнет настиными духами.

Как-то в конце октября, ночью, кто-то долго стучал в заколоченную уже несколько лет калитку в глубине сада.

Катерина Петровна беспокоилась, долго обвязывала голову тёплым платком, надела старый салоп, впервые за этот год вышла из дому. Шла она долго, ошупью. От холодного воздуха разболелась голова. Позабытые звёзды пронзительно смотрели на неприветливую землю. Палые листья мешали идти.

Около калитки Катерина Петровна тихо спросила: «Кто стучит?» Но за забором никто не ответил.

— Должно быть, почудилось,— сказала Катерина Петровна и побрела назад. Она задохлась, остановилась у старого дерева, взялась рукой за холодную, мокрую ветку и узнала,— это был клён. Его она посадила давно, ещё девушкой-хохотушкой, а сейчас он стоял облетевший, озябший, — ему некуда было уйти от этой бесприютной, ветреной ночи.

Катерина Петровна пожалела клён, потрогала шерша-

вый ствол, побрела в дом и в ту же ночь написала Насте письмо.

«Ненаглядная моя,— писала Катерина Петровна.— Зиму эту я не переживу. Приезжай хоть на день. Дай поглядеть на тебя, поддержать твои руки. Стара я стала и слаба до того, что тяжело мне не то что ходить, а даже сидеть и лежать,— смерть забыла ко мне дорогу. Сад сохнет,— совсем уж не тот, да я его и не вижу. Нынче осень плохая. Так тяжело,— вся жизнь, кажется, не была такая длинная, как одна эта осень».

Манюшка, шмыгая носом, отнесла это письмо на почту, долго засовывала его в почтовый ящик и заглядывала внутрь,— что там? Но внутри ничего не было видно.— одна жестяная пустота.

* * *

Настя работала секретарём в Союзе художников. Работы было много. Устройство выставок, конкурсов — всё это проходило через её руки.

Письмо Катерины Петровны Настя получила на службе. Она спрятала его в сумочку, не читая,— решила прочесть после работы. Письма от Катерины Петровны вызывали у Насти вздох облегчения,— раз мать пишет, значит, жива. Но вместе с тем они и раздражали, будто каждое письмо было безмолвным укором.

После работы Насте надо было пойти в мастерскую молодого скульптора Тимофеева, посмотреть, как он живёт, чтобы доложить об этом правлению Союза. Тимофеев жаловался на темноту, холод и вообще на то, что его затирают и не дают развернуться.

Жил Тимофеев на восьмом этаже. Лифта не было. На одной из площадок Настя достала зеркальце, напудрилась и усмехнулась,— сейчас она нравилась самой себе. Художники звали её Сольвейг за русые волосы и большие холодные глаза.

Открыл ей сам Тимофеев — маленький, решительный, злой. Он был в пальто. Шею он замотал огромным шарфом, а на его ногах Настя заметила дамские фетровые боты.

— Не раздевайтесь,— буркнул Тимофеев.— В шубе — и то замёрзнете. Прошу!

Он провёл Настю по тёмному коридору, поднялся вверх на несколько ступеней и открыл узкую дверь в мастерскую.

Из мастерской пахнуло чадом. На полу около бочки с мокрой глиной коптила керосинка. На станках стояли скульптуры, закрытые сырыми тряпками. За широким окном косо летел снег, заносил туманом Неву, таял в её чёрной воде. Ветер посвистывал в рамках и шевелил разбросанные по полу старые газеты.

— Боже мой, какой холод!— сказала Настя, и ей показалось, что в мастерской ещё холоднее от белых мраморных барельефов, в беспорядке развешанных по стенам.

— Вот, полюбуйтесь!— сказал Тимофеев, пододвигая Насте испачканное глиной кресло.— Непонятно, как я ещё не издох в этой берлоге. А у Першина в мастерской из калориферов дует теплом, как из Сахары.

— Вы не любите Першина?— осторожно спросила Настя.

— Вскочка!— сердито сказал Тимофеев.— Ремесленник! У его фигур не плечи, а вешалки для пальто. Его колхозница — каменная баба в подоткнутом фартуке. Его рабочий похож на неандертальского человека. Лепит деревянной лопатой. А хитёр, милая моя, хитёр, как кардинал.

— Покажите мне вашего Гоголя,— попросила Настя, чтобы переменить разговор.

— Перейдите!— угрюмо приказал скульптор.— Да нет, не туда! Вон в тот угол. Так!

Он снял с одной из фигур мокрые тряпки, придирчиво

осмотрел её со всех сторон, присел на корточки около кесоринки, начал греть руки и сказал:

— Ну, вот он, Николай Васильевич! Теперь прошу!

Настя вздрогнула. Насмешливо, зная её насквозь, смотрел на неё остроносый сутулый человек. Настя видела, как на его виске бьётся тонкая склеротическая жилка.

«А письмо-то в сумочке нераспечатанное, — казалось, говорили сверлящие гоголевские глаза. — Эх ты, сорока!»

— Ну что?—спросил Тимофеев.—Серьёзный дядя, да?

— Замечательно!—с трудом ответила Настя.— Это действительно превосходно.

Тимофеев горько засмеялся.

— Превосходно,—повторил он.— Все говорят: превосходно. И Першин, и Матьяш, и всякие знатоки из всяких комитетов. А толку что? Здесь — превосходно, а там, где решается моя судьба, как скульптора, там тот же Першин только неопределённо хмыкает — и готово. А Першин хмыкнул,—значит, конец! Ночи не спишь! — крикнул Тимофеев и забежал по мастерской, топая ботами.— Ревматизм в руках от ледяной мокрой глины. Три года читаешь каждое слово о Гоголе. Свиные рыла снятся!

Тимофеев поднял со стола груду книг, потряс ими в воздухе и с силой швырнул обратно. Со стола полетела гипсовая пыль.

— Это всё — о Гоголе!— сказал он и вдруг успокоился.— Что? Я, кажется, вас напугал? Простите, милая, но, ей богу, я готов драться.

— Ну, что ж, будем драться вместе,— сказала Настя и встала.

Тимофеев крепко пожал ей руку, и она ушла с твёрдым

решением вырвать во что бы то ни стало этого талантливо-го человека из нужды и безвестности.

Настя вернулась в Союз, прошла к председателю и долго говорила с ним, горячилась, доказывала, что нужно сейчас же устроить выставку работ Тимофеева. Председатель постукивал карандашом по столу, что-то долго прикидывал и в конце концов согласился.

Настя вернулась домой, в свою старинную комнату на Мойке, с лепным золочёным потолком, и только там прочла письмо Катерины Петровны.

— Куда там ехать! — сказала она и встала.— Разве отсюда вырвешьсяя.

Она подумала о переполненных поездах, пересадке на узкоколейку, тряской телеге, засохшем саде, неизбежных материнских слезах, о тягучей, ничем не скрашенной скуке сельских дней,— и положила письмо на дно ящика в письменный стол.

Две недели Настя возилась с устройством выставки Тимофеева.

Несколько раз за это время она ссорилась и мирилась с неуживчивым скульптором. Тимофеев отправлял на выставку свои работы с таким видом, будто обрекал их на уничтожение.

— Ни черта у вас не получится, дорогая моя,— со злорадством говорил он Насте, будто она устраивала не его, а свою выставку.— Зря я только трачу время, честное слово.

Настя сначала приходила в отчаяние и обижалась, пока не поняла, что все эти капризы не стоят медного гроша, что они наиграны и в глубине души Тимофеев очень рад своей будущей выставке.

Выставка открылась вечером. Тимофеев злился и говорил, что нельзя смотреть скульптуру при электричестве—

— Мёртвый свет!— ворчал он.— Убийственная скука! Керосин — и то лучше.

— Какой же свет вам нужен, невозможный вы тип! — вспылила Настя.

— Свечи нужны! Свечи! — страдальчески закричал Тимофеев. — Как же можно Гоголя ставить под электрическую лампу? Абсурд!

* * *

На открытии были скульпторы, художники. Непосвящённый, услышав разговоры скульпторов, не всегда мог бы догадаться, хвалят ли они работы Тимофеева или ругают. Но Тимофеев понимал, что выставка удалась.

Седой вспыльчивый художник — его боялись за беспощадность оценок — подошёл к Насте и похлопал её по руке:

— Благодарю. Слышал, что это вы извлекли Тимофеева на свет божий. Прекрасно сделали. А то у нас, знаете ли, много болтающих о внимании к художнику, о заботе и чуткости, а как дойдёт до дела, так натыкаешься на пустые глаза. Ещё раз — благодарю.

Началось обсуждение. Говорили много, хвалили, горячились, и мысль, брошенная старым художником о внимании к человеку, к молодому незаслуженно забытому скульптору, повторялась в каждой речи.

Тимофеев сидел нахолившись, рассматривал паркет, но всё же искоса поглядывал на выступающих, не зная, можно ли им верить или пока ещё рано.

В дверях появилась курьерша из Союза — добрая и бестолковая Даша. Она делала Насте какие-то знаки. Настя подошла к ней, и Даша, ухмыляясь, подала ей телеграмму.

Настя вернулась на своё место, незаметно вскрыла телеграмму, прочла и ничего не поняла:

«Катя помирает. Тихон».

«Какая Катя? — растерянно подумала Настя. — Какой Тихон? Должно быть, это не мне».

Она посмотрела на адрес — нет, телеграмма была ей. Тогда только она заметила тонкие печатные буквы на бухгалтерской ленте: «Заборье».

Настя скомкала телеграмму и нахмурилась. Выступал Першин.

— В наши дни, — говорил он, покачиваясь и придерживая очки, — забота о человеке становится той прекрасной реальностью, которая помогает нам расти и работать. Я счастлив отметить и в нашей среде, в среде скульпторов и художников, проявление этой заботы. Я говорю о выставке работ товарища Тимофеева. Этой выставкой мы целиком обязаны — да не будет в обиду сказано нашему руководству — одной из рядовых сотрудниц Союза, нашей милой Анастасией Семёновне.

Першин поклонился Насте, и все заплодировали. Аплодировали долго. Настя смутилась до слёз.

Кто-то тронул её сзади за руку. Это был старый вспыльчивый художник.

— Что? — спросил он шопотом и показал глазами на скомканную в руке Насти телеграмму. — Ничего неприятного?

— Нет, — ответила Настя. — Это так... От одной знакомой...

— Ага! — пробормотал старик и снова стал слушать Першина.

Все смотрели на Першина, но чей-то взгляд, тяжёлый и пронзительный, Настя всё время чувствовала на себе и боялась поднять голову. «Кто бы это мог быть? — подумала она. — Неужели кто-нибудь догадался? Как глупо. Опять расходились нервы».

Она с усилием подняла глаза и тотчас отвела их: Гоголь смотрел на неё, усмехаясь. На его виске как будто тяжело билась тонкая склеротическая жилка. Насте показало, что Гоголь тихо сказал сквозь стиснутые зубы:

— Эх ты!

Настя быстро встала, вышла, торопливо оделась внизу и выбежала на улицу.

Валил водянистый снег. На Исаакиевском соборе выступила серая изморозь. Хмурое небо всё ниже и ниже опускалось на город, на Настю, на Неву.

«Ненаглядная моя, — вспомнила Настя недавнее письмо. — Ненаглядная!»

Настя села на скамейку в сквере около Адмиралтейства и горько заплакала. Снег таял на лице, смешивался со слезами.

Настя вздрогнула от холода и вдруг поняла, что никто её так не любил, как эта дряхлая, брошенная всеми старушка, там, в скучном Заборье.

— Теперь уж поздно, — сказала Настя, встала и медленно пошла к себе на Мойку.

* * *

Тихон пришёл на почту, пошептался с почтарём Василием, взял у него телеграфный бланк, повертел его и долго, вытирая рукавом усы, что-то писал на бланке корявыми буквами. Потом осторожно сложил бланк и поплёлся к Катерине Петровне.

Катерина Петровна не вставала уже десятый день. Ничто не болело, но обморочная слабость давила на грудь, на голову, на ноги, и трудно было вздохнуть.

Манюшка шестые сутки не отходила от Катерины Петровны. Ночью она, не раздеваясь, спала на продавленном диване, укрывалась старенькой, облезлой шубкой. Иногда Манюшке казалось, что Катерина Петровна уже не дышит. Тогда она начинала испуганно хныкать и звала:

— Бабка? А бабка? Ты живая?

Катерина Петровна шевелила рукой под одеялом, и Манюшка успокаивалась.

В комнатах с самого утра стояла по углам ноябрьская темнота, но было тепло: Манюшка топила печку. Когда

весёлый огонь освещал бревенчатые стены, Катерина Петровна осторожно вздыхала, — от огня комната делалась уютной, обжитой, какой она была давным-давно, ещё при Насте. Катерина Петровна закрывала глаза, и из них выкатывалась и скользила по жёлтому виску, запутывалась в седых волосах одна-единственная слезинка.

Пришёл Тихон. Он кашлял, сморкался и, видимо, был взволнован.

— Что, Тиша?— бессильно спросила Катерина Петровна.

— Похолодало, Катерина Петровна!— бодро сказал Тихон и с беспокойством посмотрел на свою шапку.— Снег скоро выпадет. Оно к лучшему. Дорогу морозцем собьёт, значит, и ей будет способнее ехать.

— Кому?— Катерина Петровна открыла глаза и сухой рукой начала судорожно гладить одеяло.

— Да кому же другому, как не Настасье Семёновне,— ответил Тихон, криво ухмыляясь, и вытащил из шапки телеграмму.— Кому, как не ей.

Катерина Петровна хотела подняться, но не смогла, снова упала на подушку.

— Вот, — сказал Тихон, осторожно развернул телеграмму и протянул её Катерине Петровне.

Но Катерина Петровна не взяла её, а всё так же умоляюще смотрела на Тихона.

— Прочти,— сказала Манюшка хрипло.— Бабка уже читать не умеет. У неё слабость в глазах.

Тихон испуганно огляделся, поправил ворот, пригладил редкие рыжие волосы и глухим, неуверенным голосом прочёл: «Дожидайтесь выехала остаюсь всегда любящая дочь ваша Настя».

— Не надо, Тиша,— тихо сказала Катерина Петровна.— Не надо, милый. Бог с тобой. Спасибо тебе за доброе слово, за ласку.

Катерина Петровна с трудом отвернулась к стене, потому как будто уснула.

Тихон сидел в холодной прихожей на лавочке, курил, опустив голову, сплёвывал и вздыхал, пока не вышла Манюшка и не поманила его в комнату Катерины Петровны.

Тихон вошёл на цыпочках и всей пятернёй отёр лицо,— Катерина Петровна лежала бледная, маленькая, как будто безмятежно уснувшая.

— Не дождала,— пробормотал Тихон.— Приняла вечное упокоение. Эх, горе её горькое, страданье неописанное. А ты смотри, дура,— сказал он сердито Манюшке,— за добро плати добром, не будь пустельгой. Сиди здесь, а я сбегаю в сельсовет, доложу.

Он ушёл, а Манюшка сидела на табурете, подобрав колени, тряслась и смотрела, не отрываясь, на Катерину Петровну.

* * *

Хоронили Катерину Петровну на следующий день. Подморозило. Выпал тонкий снежок. День побелел, и небо было сухое, светлое, но серое, будто над головой протянули вымытую, подмёрзшую холстину. Дали за рекой стояли сизые, от них тянуло острым и весёлым запахом снега, схваченной первым морозом ивовой коры.

На похороны собрались старухи и ребята. Гроб на кладбище несли Тихон, Василий и два брата Малявины— оба робкие старички, будто заросшие чистой паклей. Манюшка с братом Володькой несла крышку гроба и смотрела, не мигая, перед собой.

Кладбище было за селом, над рекой. На нём росли высокие, жёлтые от лишаёв вербы.

По дороге встретилась учительница. Она недавно приехала из областного города и никого ещё в Заборье не знала.

— Учителька идёт, учителька! — зашептали мальчишки. Учительница была молоденькая, застенчивая, серогла-

зая, — совсем ещё девочка. Она увидела похороны и робко остановилась, испуганно посмотрела на маленькую старушку в гробу, на лицо которой падали и не таяли колкие снежинки. Там, в областном городе, у учительницы осталась мать— вот такая же маленькая, вечно взволнованная заботами о дочери и такая же совершенно седая.

Учительница постояла и медленно пошла вслед за гробом. Старухи оглядывались на неё, шептались, что вот, мол, тихая какая девушка и ей трудно будет первое время с ребятами,— уж очень они в Заборье самостоятельные и озорные.

Учительница, наконец, решила и спросила одну из старух, бабу Матрёну:

— Одинокая, должно быть, была эта старушка?

— И-и, мила-ая, — тотчас запела Матрёна, — почитай, что совсем одинокая. И такая задушевная была, такая сердечная. Всё, бывало, сидит и сидит у себя на диванчике одна, — не с кем слово сказать. Такая жалость! Есть у неё в Ленинграде дочка, да, видно, высоко залетела. Так вот и померла без людей, без сродственников.

На кладбище гроб поставили около свежей могилы. Старухи кланялись гробу, дотрагивались тёмными руками до земли. Учительница подошла к гробу, наклонилась и поцеловала Катерину Петровну в иссохшую жёлтую руку. Потом быстро выпрямилась, отвернулась и пошла к разрушенной кирпичной ограде.

За оградой в лёгком перепархивающем снегу лежала любимая, чуть печальная, родная земля.

Учительница долго смотрела, слушала, как за её спиной переговаривались старики, как стучала по крышке гроба земля и далеко по дворам кричали разноголосые петухи,— предсказывали ясные дни, лёгкие морозы, зимнюю тишину.

ПОДПАСОК

Роса была холодная, обильная — настоящая сентябрьская роса. Она брызгала в лицо с высокой травы, капала с деревьев в реку, и по тёмной воде расплывались медленные круги.

Я промок насквозь от этой росы и развёл костёр. Дым подымался прямо к небу, к вершинам лиственниц и елей. Лиственницы уже облетали. Их хвоя — тонкая, как короткие золотые волосы, — всё время сыпалась сверху, хотя ветра и не было. На лиственнице около костра трещала какая-то птица. Казалось, что эта птица — здешний лесной парикмахер, что она стрижёт хвою, щёлкает ножницами, сыплет эту хвою вниз, мне на голову, на реку, на костёр.

Я сушился и смотрел на реку. Жёлтые листья плыли островами, цеплялись за коряги, останавливались. Сзади наплывали новые груды листьев. Они запруживали реку, потом начинали медленно поворачиваться, вырываться из цепких лап коряг и, наконец, отрывались и уплывали, то разгораясь, как золото, когда попадали на солнце, то погасая и чернея, когда на них падала тень от кустов.

На реке со времени боёв с немцами остались брошенные переправы — плоты, заросшие кипреем и ольхой, и отдельные брёвна, застрявшие на мели. Они пенили вокруг себя прозрачную воду.

Кусты около костра затрещали. Из них высунулась мокрая коровья морда. Корова понюхала воздух, шумно

вздохнула и кивнула мне белой головой с чёрным пятном на лбу. Тотчас где-то рядом щёлкнул, как выстрел, кнут и кто-то крикнул:

— Куды, Параська! Куды залезла, чумовая?!

Параська рванулась в сторону и, ломая кусты, исчезла. Из-за кустов вышел подпасок — обыкновенный подпасок, каких можно увидеть в каждой нашей деревне, — маленький, беловолосый, в большом картузе, в рваном ватнике и с длинным кнутом. Он тащил кнут за собой по мокрой траве.

Подпасок потянул носом, вытер его свисавшим до земли рукавом, поглядел на меня и сказал сиплым голосом: — Почтение! Роса прямо заливает. Сил никаких нету.

— Иди, сушишь! — предложил я.

— Это можно, — согласился подпасок, подошёл и присел на корточки около костра. — Вы что же, путешественник?

— Пожалуй, что путешественник, — ответил я.

— А я пастух, — сказал мальчик. — Алексей Кудышкин. Работаю заместо отца. Он на фронте. Я, правда, ловчился попасть в конюхи, да председатель не взял. Говорит, что недомерок, ростом не вышел. Назначил Лёньку. А какой Лёнька конюх! Я его враз поборю, ежели всерьёз схватиться. Высокий, а силы никакой нету. Потому что у человека вся сила в плечах, а у него плечи узкие, как у козла.

Мальчик помолчал, потом неожиданно спросил:

— Вы реку Миссисипи видели? В Америке.

— Нет, не видел. А что?

— Охота мне её повидать. Говорят, широкая, поболее Волги. А в Сталинграде вы были?

— Бывал.

Мальчик улыбнулся:

— Папаня мой за Сталинград ранение и медаль получил. Он до войны был в нашем селе пастухом.

— Откуда ты знаешь про Миссисипи? — спросил я.

— Из школы. И от папани. Он всё знал, каждую былинку. Как её зовут, где она растёт и какая от неё польза или вред. Всё объяснит. Про нашу страну и про другие страны. Правда это, что есть алмазные горы, только они глубоко в землю ушли, и, чтобы до них дорыться, надо копать сто лет машинами?

— Не знаю, — ответил я. — Что-то не слышал я про такие горы.

— А папаня — так тот слышал! — сказал мальчик. — Он не путешественник, а всё знал про путешествия. А про бутылки вы знаете?

— Про какие бутылки?

— Про почтовые.

— Нет, не знаю.

— Я вам сейчас объясню, — сказал мальчик. — Плывёт, значит, путешественник на корабле. По большому океану. Матросы, конечно, бунтуют. Им неохота плавать. У них дома пища сытная, печь всю зиму топится, своя корова и огород, а вечером можно сходить к соседу, сыграть в поддавки. А тут одна жара и вода — и ничего больше нету. Вот они забунтовали, ссадили того путешественника в лодку и пустили его одного в океан. А сами повернули паруса и возвращаются обратно. А путешественника океан выбрасывает на необитаемый остров. Вы видели необитаемые острова?

— Нет, — ответил я.

— Да у нас на реке есть такие острова, — сказал мальчик; глаза его блестели, и лицо раскраснелось от волнения. — На одном даже выдра живёт. Так, вот, выбрасывает его волна на необитаемый остров. Там только пальмы шумят, да попугаи летают, каркают, и хорошо ещё, если есть пресная вода. Вот он достаёт из лодки бутылку, пишет записку, что выбросило его на этот остров, закупоривает и кидает в океан. Её несёт течением, потом

её, конечно, подбирает команда с какого-нибудь парохода, даёт радио, что вот требуется этому путешественнику немедленная выручка. И его спасают. А матросов судят потом адмиральским судом.

— За бунт?

— За бунт. И за бесчеловечность.

— Алёшка! — закричал издали сердитый женский голос. — Куда ты подевался! Параська в капусту полезла.

— Здесь я! — закричал подпасок. — Сейчас выгоню.

Он встал, запахнул ватник.

— Вот вредная какая! — сказал он. — С целым стадом столько не намаешься, как с одной Параськой. Ну, прощайте.

Он побежал в кусты. Издалека слышались щёлканье кнута, крик: «Куды, дьявол!» — и недовольное мычание коровы.

Я погасил костёр и пошёл вниз по реке. С каждым шагом она казалась всё загадочнее и живописней. То по крутым берегам серой стеной стояло осиновое мелко-лесье и на отдельных осинах висел жёлтый хмель, будто кто-то развесил сушить на солнце новые рогожи. То дуплистая ива лежала поперёк реки, как мост, и около неё выскакивали из воды головы. То река уходила торжественным поворотом в леса, золотые и синие от осени.

У берегов вода то струилась по перемытым пескам, то стояла глухими, глубокими омутами. На краю омутов были неясно видны валявшиеся на дне морёные дубы. В одном месте открылся косогор, красный от клёнов, а в зарослях клёнов — старенькая часовня с заржавленным куполом.

На закате я вышел к просёлочной дороге. Она шла вдоль берега. Снова на реке появились заросшие травой плоты. Издали они казались островами. Солнце садилось, и на одном плоту что-то нестерпимо блестело, буд-

то колючая звезда. Я вглядывался, но никак не мог разобрать, что это блесит — консервная банка или осколок стекла.

Я осторожно перешёл на плот по перекинутому бревну, нагнулся и увидел обыкновенную пивную бутылку. Вьюнок несколько раз обвился вокруг её горлышка. Я поднял бутылку и посмотрел на свет. Она была запечатана воском. Внутри её что-то белело. Это было письмо, сложенное треугольником.

Я отбил горлышко и вытащил письмо, но прочесть его не смог: оно было написано очень бледным карандашом, а сумерки так быстро сгущались, что уже нельзя было разобрать неровные строчки. Мне надо было торопиться, чтобы до полной темноты добраться до железной дороги. Из зарослей тянуло холодным винным запахом листьев. На полянах ещё стоял неясный свет. Высоко в небе догорало последним багровым пламенем облако.

Поезд на Москву пришёл ночью. После пустынных лесов, холодного воздуха и одиночества прокуренные шумные вагоны показались необыкновенно уютными. Я лёг на верхнюю полку около фонаря, достал письмо и прочёл его. Письмо было старое. Судя по дате, написанной почему-то особенно крупным почерком, оно пролежало в бутылке около двух лет.

«Здравствуй, папая. Это тебе письмо от сына Алексея Кудышкина. Пока ты бьёшься на фронте, обороняешь нашу землю, мы живём ничего, дожидаемся твоего возвращения. Мама работает пастухом, а я ей помогаю. Но охота мне быть конюхом. Потому что за коровами только смотри и смотри, а никаких наблюдений нету. На коне можно съездить куда хошь по делам, а у коров одна протоптана дорожка на Горелый луг да в Митину рощу. Там много не насмотришься. А мне охота всё обсмотреть и всё знать. Я бы к тебе в Сталинград доплыл от нас на плоту, да мама не пустит. И, гово-

рят, без пропуска на фронт тоже нельзя. Ты бы меня взял к себе патроны подносить или чего другое делать по военной части. Я бы управился. А ты бы нет-нет, да и рассказал про разные-разности, — ежели в бою будет передышка. Письмо это я посылаю в бутылке, как путешественник, потому что по почте мне посылать неинтересно. Наша река течёт в Волгу, а по Волге бутылка наверняка доплывёт. Какой-нибудь боец её найдёт, прочтёт адрес и тебе доставит, ежели не потопит бутылку миной или пароход не ударит по ней колесом. Ребята говорят, что Сталинград тянется на сорок восемь километров и на каждом шагу — бой! А ещё я посылаю в бутылке потому, чтобы маманя не прочла, она, бывает, плачет по тебе и больно не любит, когда я или бабка её слёзы увидим. Так и знай. Ждём тебя целого и невредимого и вспоминаем каждый день. И потому остаюсь при сем любящий тебя сын Алексей.

Петька, мельников сын, — уже лётчик. Говорят, пролетал над нашим селом, махал крыльями, только я не видел. В омуте у дубового пня такая сила язей, прямо страсть, — бьют и день и ночь. А у деда Потапа, у охотника, лисица-дура унесла ночью из клетки утиное чуело, — ошиблась. Дед ругался два дня. Отпиши мне ответ».

В Москве я был в большом затруднении, — как быть с этим письмом. Адрес алёшиного отца с тех пор, конечно, изменился. Пришлось прибегнуть к некоторому обману, чтобы не огорчать Алёшу, и переслать письмо ему в деревню с припиской, что бутылка с этим письмом была замечена в Каспийском море, подобрана на борт командой парохода «Красноводск» и пересылается по обратному адресу, так как военные действия под Сталинградом давно закончились победой и адресат, безусловно, выбыл для дальнейших побед в западном направлении.

СТЕКОЛЬНЫЙ МАСТЕР

Бабка Ганя жила на околице, в маленькой светлой избе. Ганя была одинокая. Единственный её внук Вася работал в Гусе-Хрустальном на стекольном заводе. Каждую осень он приезжал в отпуск к бабке, привозил ей в подарок гранёные синие стаканы, а для украшения — маленькие, выдутые из стекла самовары, тувельки и цветы. Выдувал он их сам.

Все эти хитрые безделушки стояли в углу на поставце, и бабка Ганя боялась к ним прикасаться.

По праздникам соседские ребята приходили к ней в гости. Она позволяла им издали посмотреть на эти волшебные вещи, но в руки ничего не давала.

— Вещь эта хрупкая, как ледок, — говорила она. — Неровен час — сломаете. Руки у вас корявые. Каргуз держать не умеете, а тоже пристаёте. Дай подержать да дай потрогать. Их держать надо слабо-слабо, как воровышка. А нешто вы так можете? А раз не можете, — так и глядите издаля.

И ребята, сопя и вытирая рукавами носы, смотрели «издаля» на стеклянные игрушки. Они переливались лёгким блеском. Изредка, когда кто-нибудь наступал на шаткую половицу, они звенели долго и очень тонко, как будто разговаривали между собой о чём-то своём — стеклянном и непонятном.

Кроме стеклянных игрушек, в избе у бабки Гани жил

рыжий пёс по имени Жек. Это был старый, беззубый пёс. Весь день он лежал под печкой и так сильно вздыхал, что с пола подымалась пыль.

Бабка Ганя часто приходила к нам с Жеком,— посидеть на крыльце, погреться на осеннем солнце, поговорить о разных-разностях, пожаловаться на старость.

— Я, милый, совсем слаба стала, ничего, почитай, и не ем, — говорила она. — Воробей — и тот за день больше нащиплет, чем я.

Однажды она попросила меня написать удивительную бумагу в сельский совет. Она диктовала её сама. Диктовать бабке Гане было, видимо, трудно.

— Пиши, сердешный, — сказала она. — Пиши в точности, как я скажу: «Я, Агафья Семёновна Ветрова, жительница села Окоёмова, сообщаю сельскому совету, что в случае моей смерти домишко мой со всем обзаведением оставляю внуку Василию Ветрову, стекольному мастеру, а бесценные стеклянные вещи, сделанные для забавы, прошу забрать в школу для ребят. Пусть видят, какие чудеса может человек совершить, ежели у него золотые руки. А то наши мужики только и знают, что пахать, да скородить, да косить, а этого для человека мало. Он обязан знать ещё и какое ни на есть мастерство.

Внук мой — такой мастер, что только землю и небо не сделает, а всё прочее может отлить из стекла красоты замечательной. Вася мой — не женатый, не пьющий. Борони бог, чтобы он жука обидел, — не то что человека. Боязно мне, что не окажется ему в жизни дороги. По этому случаю низко прошу нашу власть не оставить его заботой, чтобы дар, данный ему с малолетства, не пропал, а всё большал и большал. А потому сообщаю, что внук мой придумал сделать из тяжёлого стекла некоторую вещь, — называется она по-городскому рояль, а у нас в селе её сроду не видывали, не слыхивали. Это своё

мечтание он изложил мне, и чуть что лишится его, то может быть беда. Поэтому прошу: помогите ему, чем можете. А собаку Жека пусть заберёт аптекарь Иван Егорыч, он к зверям ласковый.

Остаюсь при сем вдова Агафья Ветрова».

Когда мы писали эту бумагу, Жек сидел у стола, тревожно смотрел нам в глаза и вздыхал, — чувствовал, должно быть, что решается его судьба.

Бабка Ганя сложила бумагу вчетверо, завернула её в чистый ситцевый платок, поклонилась низко, по-стариковски, и ушла.

На следующее утро я со своим приятелем—художником — уехал на лодке на Прорву — глубокую тихую реку. На берегах Прорвы мы провели три дня, ловили рыбу.

Стоял конец сентября. Мы ночевали в палатке. Когда мы просыпались на рассвете, полотнища палатки провисали над головой и хрустели — на них лежал тяжёлый иней. Мы выползали из палатки и тотчас разводили костёр. Всё, к чему приходилось прикасаться,—топор, котелок, ветки — было ледяное и обжигало пальцы.

Потом в безмолвии седых от инея зарослей подымалось солнце, и мы не узнавали Прорвы — всё было присыпано морозной пылью.

Только к полудню иней таял. Тогда луга и заросли приобретали прежние краски, даже более яркие, чем всегда, так как цветы и травы были мокрыми от растаявшего инея. Серая гвоздика снова делалась красной. Белые, будто засахаренные ягоды шиповника превращались в оранжевые, а лимонные листья берёз теряли серебристый налёт и шелестели под необыкновенно ясным небом.

На третий день из зарослей шиповника вышел дед Пахом. Он собирал в мешок ягоды шиповника и относил их аптекарю,— всё-таки хотя и небогатый, а заработок. Его хватало на табак.

— Здорово! — сказал дед. — Никак я в толк не возьму, чего вы тут делаете, милые. Придумали сами себе арестантские роты.

Мы сели к костру пить чай. За чаем дед завёл трудный разговор о витаминах.

— Отдышка у меня, — сказал дед. — Просил я у аптекаря, у Ивана Егорыча, пчелиного спирту, а он божится, что нету такого лекарства. Даже рассерчал на меня. «Всегда ты, говорит, Пахом, выдумываешь нивесть что. Пчелиный спирт потреблять запрещается, согласно государственной науке. Ты бы, говорит, лучше тмины пил».

— Чего? — спросил я.

— Ну, тмины там какие-то советует потреблять. Настояй из шиповника. От него, говорит, происходит долголетняя жизнь. Ей богу, не вру. Отсыплю вот этих ягод стакана два, сварю настой, буду сам пить и бабке Гане снесу — она у нас сплеховала.

— А что?

— Второй день лежит в избе, прибранная, тихая, новую панёву надела. Помирать хочет. А мне, прямо скажу, помирать ещё ни к чему. Вы от меня, голубчики, ещё наслушаетесь всякого разговора. Жалеть не будете.

Мы тут же свернули палатку, собрались и вернулись в деревню. Дед был озадачен нашей торопливостью. Он перевидал на своём веку много болезней и смертей и относился к этим вещам со стариковским спокойствием.

— Раз родились, — говорил он, — всё одно помрём. Чего тут стараться!

В деревне мы тотчас пошли с дедом к бабке Гане. В избах и по дворам было пусто: все ушли на огороды копать последнюю картошку.

На крыльце ганиной избы нас встретил Жек, и мы поняли, что с Ганей что-то случилось. Жек, увидев нас, лёг на живот, поджал хвост, повизгивал и не смотрел в глаза.

Мы вошли в избу. Бабка Ганя лежала на широкой лавке, сложив на груди руки. В руках она держала сложенную вчетверо бумагу — ту, что я писал вместе с ней. Перед смертью Ганя надела лучшую старинную одежду, и я впервые увидел белый рязанский шушун, новенький чёрный платок с белыми цветами, повязанный на голове, и синюю клетчатую панёву.

Дед наступил на шаткую половицу, и тотчас жалобно запели стеклянные игрушки.

— Вечный покой,— сказал дед и стащил с головы рванный картуз.— Не поспел я тмины ей приготовить. Душевная была старуха,— строгая, бессеребряная.

Он обернулся к Жеку и сказал сердито, утирая картузом лицо:

— Ты чего же не доглядел хозяйку, дьявол косматый!

Жек опустил голову и робко помахивал хвостом. Он не понимал, за что на него сердятся.

Внук бабки Гани, Вася, приехал только на десятый день, когда Ганю давно схоронили и соседские ребята каждый день бегали на её могилу и рассыпали по ней крошенный хлеб — для воробьёв, зябликов и всякой другой птицы. Такой был в деревне обычай — кормить птиц на могилах, чтоб на стареньком кладбище всегда было весело от птичьего щебета.

Вася приходил каждый день к нам. Это был тихий человек, похожий на мальчика, болезненный,— «квёлый», как говорили по деревне,— но с серыми строгими глазами, такими же, как у бабки Гани. Говорил он мало,— больше слушал и улыбался.

Я долго не решался расспросить его о стеклянном роэле. Заветная его мечта казалась смешной и неосуществимой.

Но как-то в сумерках, когда за окнами густо валил первый снег, а в печах постреливали, разгораясь, берёзовые дрова, я, наконец, спросил его об этом роэле.

— У каждого мастера,— ответил Вася и застенчиво улыбнулся,— лежит на душе мечтање сделать такую великолепную вещь, какую никто до него не делал. На то он и мастер.

Вася помолчал.

— Разное есть стекло,— сказал он.— Есть грубое, бутылочное и оконное. А есть тонкое, свинцовое стекло. По-нашему, оно называется флинтгласс, а по-вашему — хрусталь. У него блеск и звон очень чистый. Оно играет радугой, как алмаз. Раньше работать из хрусталя хорошие вещи было обидно — очень он был ломкий, требовал осторожного обращения, а теперь нашли секрет делать такой хрусталь, что не боится ни огня, ни мороза, ни боя. Вот из этого хрусталя я и задумал отлить свой рояль.

— Прозрачный? — спросил я.

— Вот об этом-то и разговор,— ответил Вася.— Вы внутрь рояля, конечно, заглядывали и знаете, что устройство в нём сложное. Но, несмотря на то что рояль прозрачный, это устройство только чуть-чуть будет видно.

— Почему?

— А потому, что блеск от полировки и хрустальная игра его затмят. Это и нужно, потому что иной человек не может получать от музыки впечатления, ежели он видит, как она происходит.

— Ну, что ж, пожалуй, верно.

— Хрусталю я дам слабый дымчатый цвет с золотистой,— сказал Вася.— Только вторые клавиши сделаю из чёрного хрусталя, а так весь рояль будет, как снежный. Светиться должен и звенеть. У меня нет воображения рассказать вам, какой это должен быть переливчатый звон.

С тех пор до самого васинога отъезда мы часто говорили с ним об этом рояле.

Вася уехал в начале зимы. Дни стояли пасмурные,

мягкие. В сумерки мы выходили в сад. На снег ещё падали последние листья. Мы говорили о рояле, о том, что прекраснее всего он будет зимой,— праздничный, сверкающий, поющий так чисто и печально, как поёт вода, позванивая по первому льду.

Он даже снился мне иногда, этот рояль. Он отражал пламя свечей, старинные портреты композиторов, тяжёлые золотые рамы, снег за окнами, серого кота,— он любил сидеть на крышке рояля,— и, наконец, чёрное платье молодой певицы и её опущенную маленькую руку. Мне снился перекликающийся по залам, как эхо, голос хрустального рояля.

Мне снился композитор с серыми глазами, с седеющей бородкой и спокойным лицом. Он садился, брал холодными пальцами аккорд, и рояль начинал петь знакомые слова:

Когда поля в час утренний молчали,
Свирели звук унылый и простой
Слыхали ль вы?

Я просыпался и чувствовал то чудесное стеснение в сердце, которое всегда возникает при мысли о талантливости народа, его песнях, его великих музыкантах и скромных стекольных мастерах.

Всё гуще падал снег, засыпал могилу бабки Гани. И всё сильнее зима завладевала лесами, нашим садом, всей нашей жизнью.

И вся эта рязанская земля казалась мне теперь особенно милой. Земля, где жили бабка Ганя и дед, где вчерашний деревенский мальчик мечтал о хрустальном рояле и где красные, оставшиеся с осени гроздья рябины пылали среди снежных лесов.

ПОХОЖДЕНИЯ ЖУКА-НОСОРОГА

Солдатская сказка

Когда Пётр Терентьев уходил из деревни на войну, маленький сын его, Стёпа, не знал, что подарить отцу на прощание, и подарил, наконец, старого жука носорога. Поймал он его на огороде и посадил в коробок от спичек. Носорог сердился, стучал, требовал, чтобы его выпустили. Но Стёпа его не выпускал, а подсовывал ему в коробок травинки, чтобы жук не умер от голода. Носорог травинки сгрызал, но всё равно продолжал стучать и браниться.

Стёпа прорезал в коробке маленькое оконце для притока свежего воздуха. Жук высовывал в оконце мохнатую лапу и старался ухватить Стёпу за палец, — хотел, должно быть, поцарапать от злости. Но Стёпа пальца не давал. Тогда жук начинал с досады так жужжать, что мать Стёпы, Акулина, кричала:

— Выпусти ты его, лешего! Весь день жундит и жундит, голова от него распухла!

Пётр Терентьев усмехнулся на стёпин подарок, погладил Стёпу по голове шершавой рукой и спрятал коробок с жуком в сумку от противогАЗа.

— Только ты его не теряй, сбереги, — сказал Стёпа.

— Нешто можно такие гостинцы терять, — ответил Пётр. — Уж как-нибудь сберегу.

То ли жуку понравился запах резины, то ли от Петра приятно пахло шинелью и чёрным хлебом, но жук при- смирел и так и доехал с Петром до самого фронта.

На фронте бойцы удивлялись жуку, трогали пальцами его крепкий рог, выслушивали рассказ Петра о сыновьем подарке, говорили:

— До чего додумался парнишка! А жук, видать, бое- вой. Прямо ефрейтор, а не жук.

Бойцы интересовались, долго ли жук протянет и как у него обстоит дело с пищевым довольствием — чем его Пётр будет кормить и поить. Без воды он, хотя и жук, а прожить не может.

Пётр смущённо усмехался, отвечал, что жуку дашь ка- кую-нибудь колосинку — он и питается неделю. Много ли ему нужно.

Однажды ночью в окопе Пётр задремал, выронил коро- бок с жуком из сумки. Жук долго ворочался, раздвинул щель в коробке, вылез, пошевелил усиками, прислушался. Далеко гремела земля, сверкали жёлтые молнии.

Жук полез на куст бузины на краю окопа, чтобы получ- ше осмотреться. Такой грозы он ещё не видел. Молний было слишком много. Звёзды не висели неподвижно на небе, как у жука на родине, в петровой деревне, а взле- тали с земли, освещали всё вокруг ярким светом, дымили и гасли. Гром гремел непрерывно.

Какие-то жуки со свистом проносились мимо. Один из них так ударил в куст бузины, что с него посыпались красные ягоды. Старый носорог упал, прикинулся мёрт- вым и долго боялся пошевелиться. Он понял, что с таки- ми жуками лучше не связываться, — уж очень много их свистело вокруг.

Так он пролежал до утра, пока не поднялось солнце. Жук открыл один глаз, посмотрел на небо. Оно было си- нее, тёплое, такого неба не было в его деревне. Огромные птицы с воем падали с этого неба, как коршуны. Жук

быстро перевернулся, стал на ноги, полез под лопух, — испугался, что эти коршуны его заклюют до смерти.

Утром Пётр хватился жука, начал шарить кругом по земле.

— Ты чего? — спросил сосед-боец с таким загорелым лицом, что его можно было принять за негра.

— Жук ушёл, — ответил Пётр с огорчением. — Вот беда!

— Нашёл об чём горевать, — сказал загорелый боец. — Жук и есть жук, насекомое. От него солдату никакой пользы сроду не было.

— Дело не в пользе, — возразил Пётр, — а в памяти. Сынишка мне подарил напоследок. Тут, брат, не насекомое дорого, а дорога память.

— Это точно! — согласился загорелый боец. — Это, конечно, — дело другого порядка. Только найти его — всё равно что махорочную крошку в океане-море. Пропал, значит, жук.

Старый носорог услышал голос Петра, зажужжал, поднялся с земли, перелетел несколько шагов и сел Петру на рукав шинели. Пётр обрадовался, засмеялся, а загорелый боец сказал:

— Ну и шельма! На хозяйский голос идёт, как собака. Насекомое, а котелок у него варит.

С тех пор Пётр перестал сажать жука в коробок, а носил его прямо в сумке от противогаса, и бойцы ещё больше удивлялись: «Видишь ты, совсем ручной сделался жук!»

Иногда в свободное время Пётр выпускал жука, и жук ползал вокруг, выскивал какие-то корешки, жевал листья. Они были уже не те, что в деревне. Вместо листьев берёзы много было листьев вяза и тополя. И Пётр, рассуждая с бойцами, говорил:

— Перешёл мой жук на трофейную пищу.

Однажды вечером в сумку от противогаса подуло све-

жестью, запахом большой воды, и жук вылез из сумки, чтобы посмотреть, куда это он попал вместе с Петром.

Пётр сидел вместе с бойцами на пароме. Паром плыл через светлую широкую реку. За ней садилось золотое солнце, по берегам стояли ракиты, летали над ними аисты с красными лапами.

— Висла! — говорили бойцы, зачерпывали манерками воду, пили, а кое-кто умывал в прохладной воде пыльное лицо. — Пили мы, значит, воду из Дона, Днепра и Буга, а теперь попьём и из Вислы. Сладкая в Висле вода!

Жук подышал речной прохладой, пошевелил усиками, залез в сумку, уснул.

Проснулся он от сильной тряски. Сумку мотало, она подсакивала. Жук быстро вылез, огляделся. Пётр бежал по пшеничному полю, а рядом бежали бойцы, кричали «ура». Чуть светало, и на касках бойцов блестела роса.

Жук сначала изо всех сил цеплялся лапками за сумку, потом сообразил, что всё равно ему не удержаться, раскрыл крылья, снялся, полетел рядом с Петром и загудел, будто подбодряя Петра.

Какой-то человек в грязном зелёном мундире прицелился в Петра из винтовки, но жук с налёта ударил этого человека в глаз. Человек пошатнулся, выронил винтовку и побежал. Жук полетел следом за Петром, вцепился ему в плечи и слез в сумку только тогда, когда Пётр упал на землю и крикнул кому-то: «Вот беда! В ногу меня зацепило». В это время люди в грязных зелёных мундирах уже бежали, оглядываясь и отстреливаясь, и за ними по пятам катилось громовое «ура».

Месяц Пётр пролежал в лазарете, а жука отдал на сохранение польскому мальчику. Мальчик этот жил в том же дворе, где помешался лазарет.

Из лазарета Пётр снова ушёл на фронт — рана у него была лёгкая. Часть свою он догнал уже в Германии. Дым от тяжёлых боёв был такой, будто горела сама земля и

выбрасывала из каждой лощинки громадные чёрные тучи. Солнце меркло в небе. Жук, должно быть, оглох от грома пушек и сидел в сумке тихо, не двигаясь.

Но как-то утром он зашевелился и вылез. Дул тёплый ветер, уносил далеко на юг последние полосы дыма. Чистое высокое солнце сверкало в синей небесной глубине. Было так тихо, что жук слышал шелест листа на дереве над собой. Все листья висели неподвижно, и только один трепетал и шумел, будто радовался чему-то и хотел расказать об этом всем остальным листьям.

Пётр сидел на земле, пил из фляжки воду. Капли стекали по его небритому подбородку, играли на солнце. Напившись, Пётр засмеялся и сказал:

— Победа!

— Победа! — отозвались бойцы, сидевшие рядом.

Один из них вытер рукавом глаза и добавил:

— Вечная слава! Стосковалась по нашим рукам родная земля. Мы теперь из неё сделаем богатый сад и заживём, братцы, вольные и счастливые.

Вскоре после этого Пётр вернулся домой. Акулина закричала и заплакала от радости, а Стёпа тоже заплакал и спросил:

— Жук живой?

— Живой он, мой товарищ, — ответил Пётр. — Не тронула его немецкая пуля. Воротился он в родные места победителем. И мы его выпустим с тобой, Стёпа.

Пётр вынул жука из сумки, положил на ладонь. Жук долго сидел, озираясь, поводил усами, потом приподнялся на задние лапки, раскрыл крылья, снова сложил их, подумал и вдруг взлетел с громким жужжанием, — узнал родные места. Он сделал круг над колодезем, над грядкой укропа в огороде и полетел через речку в лес, где аукались ребята, собирали грибы и дикую малину. Стёпа долго бежал за ним, махал картузом.

— Ну вот, — сказал Пётр, когда Стёпа вернулся, —

теперь жучище этот расскажет своим про войну и про геройское своё поведение. Соберёт всех жуков под можжевельником, поклонится на все стороны и расскажет.

Стёпа засмеялся, а Акулина сказала:

— Будя мальчику сказки рассказывать. Он и впрямь поверит.

— И пусть его верит, — ответил Пётр. — От сказки не только ребятам, а даже бойцам одно удовольствие.

— Ну, разве так! — согласилась Акулина и подбросила в самовар сосновых шишек. Самовар загудел, как старый жук-носорог, и синий дым из самоварной трубы заструился, полетел в вечернее небо, где уже стоял молодой месяц, отражался в озёрах, в реке, смотрел сверху на тихую и прекрасную нашу землю.

ТЕПЛЫЙ ХЛЕБ

С к а з к а

Когда кавалеристы проходили через деревню Бережки, немецкий снаряд разорвался на околице и ранил в ногу вороного коня. Командир оставил раненого коня в деревне, а отряд ушёл дальше, пыля и позванивая удилами, — ушёл, закатился за рощи, за холмы, где ветер качал спелую рожь.

Коня взял к себе мельник Панкрат. Мельница давно не работала, но мучная пыль навеки въелась в Панкрата. Она лежала серой коркой на его ватнике и картузе. Изпод козырька картуза посматривали на всех быстрые чёрные глаза мельника. Панкрат был скорый на работу, сердитый старик, и ребята считали его колдуном.

Панкрат вылечил коня. Конь остался при мельнице и терпеливо возил глину, навоз и жерди, — помогал Панкрату чинить плотину.

Панкрату трудно было прокормить коня, и конь начал ходить по дворам, побираться. Постоит, пофыркает, постучит мордой в калитку, и, глядишь, ему вынесут свекольной ботвы, или чёрствого хлеба, или, случалось даже, сладкую морковку. По деревне говорили, что конь ничей, а вернее, — общественный, и каждый считал своей обязанностью его покормить. К тому же конь — раненый, пострадал от врага.

Жил в Бережках со своей бабкой мальчик Филька, по прозвищу «Ну тебя». Филька был молчаливый, недовер-

чивый, и любимым его выражением было: «Да ну тебя!» Предлагал ли ему соседский мальчишка походить на ходулях или поискать позеленевшие патроны, Филька отвечал сердитым басом: «Да ну тебя! Ищи сам!» Когда бабка выговаривала ему за неласковость, Филька отворачивался и бормотал: «Да ну тебя! Надоела!»

Зима в тот год стояла тёплая. В воздухе висел серый дым. Снег выпадал и тотчас таял. Мокрые вороны садились на печные трубы, чтобы обсохнуть, толкались, каркали друг на друга. Около мельничного лотка вода не замерзала, а стояла чёрная, тихая, и в ней кружились льдинки.

Панкрат починил к тому времени мельницу и собирался молоть хлеб, — хозяйки жаловались, что мука кончается, осталось у каждой на два-три дня, а зерно лежит немолотое.

В один из таких тёплых серых дней раненый конь постучал мордой в калитку к филькиной бабке. Бабки не было дома, а Филька сидел за столом и, сопя, жевал кусок хлеба, круто посыпанный солью.

Филька нехотя встал, вышел за калитку. Конь переступил с ноги на ногу и потянулся к хлебу. «Да ну тебя! Дьявол!» — крикнул Филька и наотмашь ударил коня по губам. Конь отшатнулся, замотал головой, а Филька закинул хлеб далеко в рыхлый снег и закричал:

— На вас не напасёшься, на христарадников! Вон твой хлеб! Иди, копай его мордой из-под снега! Иди, копай!

И вот после этого злорадного окрика и случились в Бережках те удивительные дела, о каких и сейчас люди говорят, покачивая головами, потому что сами не знают, было ли это или ничего такого и не было.

Слеза скатилась у коня из глаза. Конь заржал жалобно, протяжно, взмахнул хвостом, и тотчас в голых деревьях, в изгородах и печных трубах запел, завыл, засвистел пронзительный ветер, вздул снег, запорошил Фильке гор-

ло. Филька бросился обратно в дом, но никак не мог найти крыльца — так уже мело кругом и хлестало в глаза. Летела по ветру мёрзлая солома с крыш, ломались скворечни, хлопали оторванные ставни. И всё выше взвивались столбы снежной пыли с окрестных полей, неслись на деревню, шурша, крутятся, перегоняя друг друга.

Филька вскочил, наконец, в избу, припёр дверь, сказал: «Да ну тебя!» — и прислушался. Ревела, обезумев, метель, но сквозь её рёв Филька слышал тонкий и короткий свист, — так свистит конский хвост, когда рассерженный конь бьёт им себя по бокам.

Метель начала затихать к вечеру, и только тогда смогла добраться к себе в избу от соседки филькина бабка. А к ночи небо зазеленело, как лёд, звёзды примёрзли к небесному своду, и колючий мороз прошёл по деревне. Никто его не видал, но каждый слышал скрип его валенок по твёрдому снегу, слышал, как мороз, озоруя, стискивал толстые брёвна в стенах, и они трещали и лопались.

Бабка, плача, сказала Фильке, что наверняка уже замёрзли колодцы и теперь их ждёт неминуемая смерть. Воды нет, мука у всех вышла, а мельница работать теперь не сможет, потому что река застыла до самого дна.

Филька тоже заплакал от страха, когда мыши начали выбегать из подпола и хорониться под печкой в соломе, где ещё оставалось немного тепла. «Да ну вас! Проклятые!» — кричал он на мышей, но мыши всё лезли из подпола. Филька забрался на печь, укрылся тулупчиком, весь трясся и слушал причитания бабки.

— Сто лет назад упал на нашу округу такой же лютый мороз, — говорила бабка. — Заморозил колодцы, побил птиц, высушил до корня леса и сады. Десять лет после того не цвели ни деревья, ни травы. Семена в земле пожухли и пропали. Голая стояла наша земля, и обегал её стороной всякий зверь — боялся пустыни.

— А отчего же трясся тот мороз? — спросил Филька.

— От злобы людской, — ответила бабка. — Шёл через нашу деревню старый солдат, попросил в избе хлеба, а хозяин, злой мужик, заспанный, крикливый, возьми и дай одну только чёрствую корку. И то не дал в руки, а швырнул на пол и говорит: «Вот тебе! Жуй!» «Мне хлеб с полу поднять невозможно, — говорит солдат. — У меня вместо ноги деревяжка». — «А ногу куда девал?» — спрашивает мужик. — «Утерял я ногу на Балканских горах в турецкой баталии», — отвечает солдат. — «Ничего! Раз дюже голодный — подымешь, — засмеялся мужик. — Тут тебе камердинеров нету». Солдат покряхтел, изловчился, поднял корку и видит — это не хлеб, а одна зелёная плесень. Один яд! Тогда солдат вышел на двор, свистнул — и враз сорвалась метель, пурга, буря закружила деревню, крыши посрывала, а потом ударил лютый мороз. И мужик тот помер.

— Отчего же он помер? — хрипло спросил Филька.

— От охлаждения сердца, — ответила бабка, помолчала и добавила: — Знать, и нынче завёлся в Бережках дурной человек, обидчик, и сотворил злое дело. Оттого и мороз.

— Чего ж теперь делать, бабка? — спросил Филька изпод тулупа. — Неужто помирать?

— Зачем помирать? Надеяться надо.

— На что?

— На то, что поправит дурной человек своё злодейство.

— А как его исправить? — спросил, всхлипывая, Филька.

— А об этом Панкрат знает, мельник. Он старик хитрый, учёный. Его спросить надо. Да нешто в такую стужу до мельницы добежишь? Сразу кровь остановится.

— Да ну его, Панкрата! — сказал Филька и затих.

Ночью он слез с печи. Бабка спала, сидя на лавке. За окнами воздух был синий, густой, страшный. В чистом

небе над осокорьями стояла луна, убранная, как невеста, розовыми венцами.

Филька запахнул тулупчик, выскочил на улицу и побежал к мельнице. Снег пел под ногами, будто артель весёлых пильщиков пилила под корень берёзовую рощу за рекой. Казалось, воздух замёрз и между землёй и луной осталась одна пустота — жгучая и такая ясная, что если бы подняло пылинку на километр от земли, то и её было бы видно и она светилась бы и мерцала, как маленькая звезда.

Чёрные ивы около мельничной плотины поседели от стужи. Ветки их поблескивали, как стеклянные. Воздух колот Фильке грудь. Бежать он уже не мог, а тяжело шёл, загребая снег валенками, задыхался.

Филька постучал в окошко панкратовой избы. Тотчас в сарае за избой заржал и забил копытом раненый конь. Филька охнул, присел от страха на корточки, затаился. Панкрат отворил дверь, схватил Фильку за шиворот и втащил в избу.

— Садись к печке, — сказал он. — Рассказывай, пока не замёрз.

Филька, плача, рассказал Панкрату, как он обидел раненого коня и как из-за этого упал на деревню мороз.

— Да-а, — вздохнул Панкрат, — плохо твоё дело! Выходит, что из-за тебя всем пропадать. Зачем коня обидел? За что? Бессмысленный ты гражданин!

Филька сопел, вытирая рукавом глаза.

— Ты брось реветь! — строго сказал Панкрат. — Реветь вы все мастера. Чуть что нашкодил — сейчас в рёв. Но только в этом я смысла не вижу. Мельница моя стоит, как запаянная морозом навеки, а муки нет, и воды нет, и что нам придумать, — неизвестно.

— Чего же мне теперь делать, дедушка Панкрат? — спросил Филька.

— Изобрести спасение от стужи. Тогда перед людьми

не будет твоей вины. И перед раненой лошадыю — тоже. Будешь ты чистый человек, весёлый. Каждый тебя по плечу потреплет и тебя простит. Понятно?

— Понятно, — ответил упавшим голосом Филька.

— Ну, вот и придумывай. Даю тебе сроку час с четвертью.

В сенях у Панкрата жила пёстрая сорока. Она не спала от холода, сидела на хомуте — подслушивала. Потом она боком, озираясь, поскакала к щели под дверью. Выскочила наружу, прыгнула на перильца и полетела прямо на юг. Сорока была опытная, старая и нарочно летела у самой земли, потому что от деревень и лесов всё таки тянуло теплом, и сорока не боялась замёрзнуть. Никто её не видел, только лисица в Осиновом яру высунула морду из норы, повела носом, увидела, как тёмной тенью пронеслась по небу сорока, шарахнулась обратно в нору и долго сидела, почёсываясь и соображая, — куда ж это в такую страшную ночь подалась сорока?

А Филька в это время сидел на лавке, ёрзал, придумывал.

— Ну, — сказал, наконец, Панкрат, затапывая махорочную цыгарку, — время твоё вышло. Выкладывай! Льготного срока не будет.

— Я, дедушка Панкрат, — сказал Филька, — как рассветёт, соберу со всей деревни ребят. Возьмём мы ломы, пшени, топоры, будем рубить лёд у лотка около мельницы, покамест не дорубимся до воды и не потечёт она на колесо. Как пойдёт вода, ты пускай мельницу! Провернёшь колесо двадцать раз, она и разогреется и начнёт молоть. Будет, значит, и мука, и вода, и всеобщее спасение.

— Ишь ты, шустрый какой! — сказал мельник. — Подо льдом, конечно, вода есть. А ежели лёд толщиной в твой рост, что ты будешь делать?

— Да ну его! — сказал Филька. — Пробьём мы, ребята, и такой лёд!

- А ежели замёрзнете?
- Костры будем жечь.
- А ежели не согласятся ребята за твою дурь расплавиваться своим горбом? Ежели скажут: «Да ну его! Сам виноват — пусть сам лёд и скалывает».
- Согласятся! Я их умолю. Наши ребята — хорошие.
- Ну, валяй, собирай ребят. А я со стариками потолкую. Может, и старики натянут рукавицы да возьмутся за ломы.

В морозные дни солнце всегда восходит багровое, косматое, в тяжёлом дыму. И в это утро поднялось над Бережками такое солнце. На реке был слышен частый стук ломов. Трещали костры. Ребята и старики работали с самого рассвета, скалывали лёд у мельницы. И никто стогоряча не заметил, что после полудня небо затянулось низкими облаками и задул по седым ивам ровный и тёплый ветер. А когда заметили, что переменялась погода, ветки ив уже оттаяли, и весело, гулко зашумела за рекой мокрая берёзовая роща. В воздухе запахло весной, навозом.

Ветер дул с юга. С каждым часом становилось всё теплее. С крыш уже сваливался подтаявший снег, падали и со звоном разбивались сосульки. Вороны вылезли из-под застрех и снова обсыхали на трубах, толкались, каркали.

Не было только старой сороки. Она прилетела к вечеру, когда от теплоты лёд начал таять, оседать, работа у мельницы пошла быстро и показалась первая полынья с тёмной водой.

Мальчишки стащили треухи и прокричали «ура». Панкрат говорил, что если бы не тёплый ветер, то, пожалуй, и не обколоть бы лёд ребятам и старикам. А сорока сидела на раките над плотиной, трещала, трясла хвостом, кланялась на все стороны и что-то рассказывала, но никто, кроме ворон, её не понял. А сорока рассказывала,

что она долетела до тёплого моря, где спал в горах летний ветер, разбудила его, натрещала ему про лютый мороз и упростила его прогнать этот мороз, помочь людям.

Ветер будто бы не осмелился отказать ей, сороке, и задул, понёсся над полями, посвистывая и посмеиваясь над морозом. И если хорошенько прислушаться, то уже слышно, как по оврагам под снегом бурлит-журчит тёплая вода, моет корни брусники, ломает лёд на реке.

Всем известно, что сорока — самая болтливая птица на свете, и потому вороны ей не поверили — покаркали только между собой, что вот, мол, опять завралась старая.

Так до сих пор никто и не знает, правду ли говорила сорока или всё это она выдумала от хвастовства. Одно только известно, что к вечеру лёд треснул, разошёлся, ребята и старики нажали — и в мельничный лоток хлынула с шумом вода.

Старое колесо скрипнуло — с него посыпались сосульки — и медленно повернулось. Заскрежетали жернова, потом колесо повернулось быстрее, ещё быстрее, и вдруг вся старая мельница затряслась, заходила ходуном и пошла стучать, скрипеть, молотить зерно.

Панкрат сыпал зерно, а из-под жерновов лилась в мешки горячая пушистая мука. Женщины окунали в неё озябшие руки и смеялись.

По всем дворам уже кололи звонкие берёзовые дрова. Избы светились от жаркого печного огня. Женщины месили тугое сладкое тесто. И всё, что было живого в избах, — ребята, кошки, даже мыши, — всё это вертелось около хозяек, а хозяйки шлёпали ребят по спине белой от муки рукой, чтобы не лезли в самую квашню и не мешались.

Ночью по деревне стоял такой запах тёплого хлеба с румяной коркой, с пригоревшими к донцу капустными листьями, что даже лисицы вылезли из нор, сидели на

снегу, дрожали и тихонько скулили, соображая, как бы словчиться стащить у людей хоть кусочек этого чудесного хлеба.

На следующее утро Филька пришёл вместе с ребятами к мельнице. Ветер гнал по синему небу рыхлые тучи, не давал им ни на минуту остановиться, перевести дух, и потому по земле неслись попеременно то холодные тени, то горячие солнечные пятна.

Филька тащил буханку свежего хлеба, а совсем маленький мальчик Николка держал деревянную солонку с крупной жёлтой солью. Панкрат вышел на порог, спросил:

— Что за явление? Мне, что ли, хлеб-соль подносите? За какие такие заслуги?

— Да нет! — закричали ребята. — Тебе будет особо. А это раненому коню. От Фильки. Помирить мы их обоих хотим.

— Ну что ж, — сказал Панкрат. — Не только человеку извинение требуется. Сейчас я вам коня представлю в натуре.

Панкрат отворил ворота сарая, выпустил коня. Конь вышел, вытянул голову, заржал — учуял запах свежего хлеба. Филька разломил буханку, посолил хлеб из солонки и протянул коню. Но конь хлеба не взял, начал мелко перебирать ногами, попятился в сарай. Испугался Фильки. Тогда Филька перед всей деревней громко заплакал. Ребята зашептались и притихли, а Панкрат потрепал коня по шее и сказал:

— Не пужайся, Мальчик! Филька — не злой человек. Зачем же его обижать? Бери хлеб, мирись!

Конь помотал головой, подумал, потом осторожно вытянул шею и взял, наконец, хлеб из руки Фильки мягкими губами. Съел один кусок, обнюхал Фильку и взял второй кусок. Филька ухмылялся сквозь слёзы, а конь жевал хлеб, фыркал. А когда съел весь хлеб, положил голову

Фильке на плечо, вздохнул и закрыл глаза от сытости и удовольствия.

Все улыбались, радовались. Только старая сорока сидела на раките и что-то сердито трещала: должно быть, опять хвасталась, что это ей одной удалось помирить коня с Филькой. Но никто её не слушал и не понимал, и сорока от этого сердилась всё больше и трещала, как настоящий пулемёт.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Дождливый рассвет	3
Телеграмма	20
Подпасок	34
Стекольный мастер	40
Похождения жука-носорога	47
Тёплый хлеб	53

Отв. редактор А. А. СУРКОВ.

Издательство «Правда».

А — 01959 Заказ № 1612

Тираж 100.000 экз. Печ. л. 2.

Подписано к печати 6/IV 1946 г.

Тип. газеты «Правда» имени Сталина.

Москва, улица «Правды», 24.

Цена 80 коп.